18+

МАКСИМ ГОЛОДНОВ

Реестр неспешных наблюдений

ТРИДЦАТЬ ИСТОРИЙ
ПЕТЕРБУРГСКОГО КОТА АРИСТАРХА



Максим Голоднов

Реестр неспешных наблюдений. Тридцать историй петербургского кота Аристарха

«Издательские решения»

Голоднов М. С.

Реестр неспешных наблюдений. Тридцать историй петербургского кота Аристарха / М. С. Голоднов — «Издательские решения»,

Аристарх не торопится. Это крупный дымчато-серый сибирский кот с янтарными глазами и белым «гетром» на левой лапе. Он знает, где в Эрмитаже лепнина выше, чем кажется, и в чём разница между тишиной зала Рембрандта и тишиной двора после дождя. Он ездит по городу в холщовой сумке с прорезью, слушает дворников, музейных смотрительниц и уличных музыкантов и всё записывает в Реестр.Тридцать рассказов о Петербурге: с юмором, с лирикой и с лёгкой мистикой.

© Голоднов М. С.
© Издательские решения

Содержание

Часть I. Город, который мы любим 6
Подоконник как философия 7
Белая ночь на Дворцовом мосту 12
Кот и Медный всадник 16
Наводнение 1824-го: что помнит подвал 21
Блокадная кошка 26
Дворы, лестницы, парадные 30
Часть II. Музеи и залы 35
Эрмитажные коты: ночная смена 35
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Реестр неспешных наблюдений
Тридцать историй петербургского кота Аристарха

Максим Сергеевич Голоднов

© Максим Сергеевич Голоднов, 2026

ISBN 978-5-0071-5851-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть I. Город, который мы любим



Подоконник как философия

Утро в нашем доме начинается не со света. Свет к нам спускается поздно и к пятому этажу доходит усталым, процеженным сквозь узкую щель между крышами, как чай сквозь старое ситечко. Утро начинается со звука.

Первой просыпается метла. Шшух-шшух, шшух-шшух: ровно, без спешки, словно кто-то медленно перелистывает огромную книгу, страницы которой сделаны из асфальта. Нигде в мире утро не звучит так, как в петербургском дворе-колодце. Звук поднимается вдоль стен, отражается от жёлтой штукатурки, цепляется за водосточные трубы и добирается до моего подоконника уже обкатанным и мягким, будто его полировали лет сто двадцать, а теперь только слегка подновляют.

Я лежу на правом боку. Левое ухо повёрнуто к окну, правое к комнате. Это не поза, а система. Левое слушает город, правое следит за Дарьей. Если шаги в коридоре ускоряются, значит, она проспала и сейчас начнётся то, что она называет «утренней гармонией», а я «сквозняком из чашек и телефонов».

Но сегодня шаги не ускоряются. Суббота. Дарья спит, и я позволяю себе то, на что по будням у меня нет времени: слушать двор по порядку, как слушают оркестр, различая каждый инструмент.

Метла у нас контрабас. Её партия, это ритм, на котором всё держится. Затем вступает дверь на втором этаже: пружина скрипит на одной ноте, ми-бемоль, если мой слух мне не изменяет, а он не изменяет. Потом кто-то из третьего подъезда выносит мусор, и ведро звякает в самом конце такта, как треугольник. Потом включается радио Зинаиды Максимовны с четвёртого этажа. Оно всегда настроено на одну волну, и по субботам там звучит классика, поданная тоном человека, читающего прогноз погоды. Сегодня Глинка. Я готов поклясться, что это «Камаринская», потому что в ней есть то лукавство, с которым русская музыка притворяется, будто пляшет, а на самом деле думает.

Люди, заглянув в наш двор, обычно жалеют тех, кто живёт на нижних этажах, и тех, кто на верхних тоже. Колодец, говорят они, и вздыхают. Дескать, света нет, неба нет, одни стены. Я же давно понял, что хороший колодец устроен не для глаз. Он устроен для ушей. Двор учит слушать. А тот, кто умеет слушать, знает о городе больше, чем тот, у кого из окна виден весь Исаакий.

Кафедра

Расскажу о подоконнике. Люди думают, что подоконник — это полочка для герани и кошек. Они ошибаются. Подоконник в старом петербургском доме — это кафедра. Стена здесь в два с лишним кирпича толщиной, окно утоплено в неё глубоко, и получается маленькая комната внутри комнаты, широкая, как профессорский стол. Сюда ставят цветы, сюда кладут забытые очки, сюда по неписаному закону садится тот, кто в доме думает. В нашем доме думаю я. Дарья думает на ходу, а это, как я давно заметил, совсем другое занятие.

Всё, что видно из окна, можно перечислить за полминуты: квадрат двора, бывший дровяной сарай, ныне велосипедная стоянка, ржавая пожарная лестница, чужие окна напротив с чужими занавесками и кусок неба размером с носовой платок. Остальное достраивается воображением. Это, пожалуй, главное, чему меня научил подоконник: чем меньше видно, тем больше думается.

Дарья проснулась в десять. Выпила кофе, и я, как положено, посидел рядом, пока она листала афишу на телефоне. Читать через плечо неприлично, но кошкам такое прощается. Она бормотала: «Вечером репетиция, днём надо в редакцию, по дороге купить хлеба». Я подождал, пока в этом списке образуется пауза, и подошёл к двери на чёрную лестницу.

Выход на чёрную лестницу моя привилегия, оформленная прошлой зимой устным договором. Дарья открыла дверь, не отрываясь от телефона, и сказала то, что говорит каждый раз:

— Только не пропадай.

Я ответил хвостом: «Позвольте уточнить, сударыня: пропадают те, кого не ищут». Она, конечно, не поняла, но улыбнулась.

Чёрная лестница

В нашем доме две лестницы, как у любого уважающего себя дома своей эпохи. Парадная широкая, с чугунными перилами, с ковровыми держателями, которые давно потеряли ковры, и с зеркалом на втором этаже, где в позапрошлом веке, как я подозреваю, кто-то поправлял причёску перед выходом в свет. Чёрная лестница узкая, винтовая, и по ней, если подумать, жил настоящий дом.

Здесь носили дрова и воду, выносили помои, поднимались прислуга, молочницы и посыльные. Парадная была для господ, чёрная для тех, благодаря кому господа могли быть господами. Мне кажется, эти две лестницы, как два характера города: фасадный и закулисный. Один выходит на Невский, другой во двор. И Петербург был бы неполным, если бы мы с вами знали только первый.

Спускаюсь я осторожно, с остановками. Каждая ступень здесь вытерта посередине, вогнута, как ложка: сто с лишним лет ног. Лапой это чувствуешь отчётливо. Камень хранит память лучше бумаги. Бумагу можно сжечь или потерять, а камень будет помнить, как по нему шли, пока не сточится совсем.

Пахнет на лестнице сложно. Сыростью известняка, жареным луком из какой-то кухни, старой масляной краской, кошками (мои собратья здесь оставляют письма, и я читаю их с профессиональным интересом) и ещё, едва-едва, глубоко в стене, дровами. Дом давно на центральном отоплении, но стены, видно, помнят. На третьем этаже я постоял минуту: уж очень явственно потянуло берёзовым дымом. Может быть, мне показалось. Но я давно подозреваю, что в Петербурге «показалось» это всего лишь вежливое название для воспоминаний, которые не хотят быть названы своими именами. Внизу я приоткрыл дверь лапой, принюхался к холодному асфальту и мокрой листве и вышел во двор.

Лев Игнатьевич

Он стоял у арки с метлой в руках, в синей куртке с оранжевыми полосами, и смотрел вверх, на тот самый носовой платок неба. Лев Игнатьевич наш дворник. В бумагах он, кажется, давно называется как-то длиннее, «работником по комплексному обслуживанию территории» или что-то в этом роде, но сам себя именует дворником и никому не позволяет себя переименовывать. Лет ему около семидесяти, усы седые и аккуратные, как у корректора. До дворницкой судьбы он тридцать лет преподавал черчение в техническом училище. Любит повторять: «Я долго объяснял студентам, как делается чертёж. Теперь чищу то, что по этим чертежам построили».

— А, Аристарх Невский! — сказал он, не оборачиваясь. — С инспекцией?

Я ответил низким звуком, тем самым, который у меня обозначает «позвольте поздороваться». Он обернулся, кивнул и, кажется, слегка поклонился. С ним мы на «вы», и это, на мой взгляд, образец отношений между существами разных видов.

Лев Игнатьевич опёрся на метлу и посмотрел на меня так, как смотрят на собеседника, с которым хочется поговорить, но который пока не уверен, стоит ли начинать.

— Вот вы, как я погляжу, всё сверху смотрите, с подоконника. А я снизу. Сверху двор красивый, колодец, геометрия. Снизу он другой.

Я сел, обернул лапы хвостом, и это означало: «Продолжайте, я слушаю».

И здесь, признаюсь, я сделал ошибку. Я так люблю свою теорию, что не удержался и ответил, то есть коротко «заметил», как бы вставляя реплику. Теория у меня такая: двор-колодец — это архитектурная метафора петербургского характера. Сдержанность, вертикаль, внутренняя глубина, свет, которого мало, а потому он драгоценен. Я продумал её на подоконнике не меньше сотни раз и был в ней совершенно уверен.

Лев Игнатьевич выслушал мою реплику (в том виде, в каком он её способен был расшифровать), усмехнулся в усы и покачал головой.

— Нет, Аристарх Невский. Не метафора. Арифметика.

Я невольно подобрал хвост.

— Земля в центре была дорогая, — стал объяснять он, медленно и с удовольствием, как объясняют ученикам, которых любят. — Доходные дома строили так, чтобы с каждого вершка выжать побольше. Этажей побольше, квартир побольше, а двор как можно меньше, только чтобы окна во двор хоть как-то пропускали свет. Хозяину нужна была выгода, а не метафора. Вот вам и колодец.

Я сидел и чувствовал, как шерсть на загривке слегка теплеет. У кошек это называется смущением. Я столько раз излагал собственной стене красивую теорию про вертикаль и внутреннюю глубину, а оказалось, что за всем этим стояла простая арифметика землевладельца.

— Только вы не расстраивайтесь, — добавил Лев Игнатьевич, заметив моё состояние. — Арифметика здесь ещё не всё. Самое интересное начинается потом.

Что бывает, когда окна близко

Он присел на низкую каменную тумбу у стены. Я устроился рядом.

— Представьте, — говорил он, — что вы живёте в доме, где окна напротив в десяти шагах. Прямо в ваше окно смотрит чужая кухня. Вы слышите, как за стеной ругаются, как гладят бельё, как кто-то репетирует гаммы. Вы всё знаете и ничего не говорите. Как жить?

Я подумал. И сказал бы, что надо не замечать.

— Именно! — Он будто услышал. — Надо делать вид, что ничего не слышишь. Вежливо, тактично, всерьёз. Это, Аристарх Невский, и есть школа деликатности. Сначала вынужденная, потому что иначе жить невозможно. Потом привычная. Потом, глядишь, добродетель. Петербуржец не то, чтобы был вежлив от природы. Его тесные дворы приучили не лезть в чужие окна.

— И дворник в этой системе, — он слегка поклонился самому себе, — фигура ключевая. В прежние времена дворник стоял у ворот, знал всех жильцов, кто когда приходит, кто с кем, кто с чем, отвечал за порядок перед полицией. И молчал. Вся жизнь дома проходила у него перед глазами, а он молчал. Вот вам вторая школа.

Я слушал, и внутри у меня что-то аккуратно переставлялось. Теория про метафору осыпалась, а на её месте вырастала другая, более скромная и, пожалуй, более верная: характер города рождается не из замысла, а из тесноты. Из того, что приходится быть рядом и не мешать друг другу. Из арифметики, превращённой в этикет.

Ехидный гость

В этот момент на ржавую пожарную лестницу тяжело, со скрежетом когтей по железу, опустился Тихон. Это ворон, который живёт на карнизе у Адмиралтейства, но по субботам, как сам объясняет, «выезжает в провинцию» (к нам во двор). Он чёрен, как типографская краска, носит манеру человека, видевшего всё и разочарованного во всём, и очень любит комментировать.

— Колодец, колодец, — проскрипел он, поворачивая на меня одним глазом, — а воды-то где?

— Здравствуйте, Тихон, — ответил я с достоинством, на какое способен кот, только что сконфуженный собственной теорией.

— Рассуждаете? — ворон хмыкнул. — Теории, теории. Дворник вам про арифметику объяснил? Правильно. Я птица городская, всё это знаю. Квадратный метр дороже поэзии. И тем не менее, — он приподнял крыло, будто указывая на небо, — иногда поэзия пробирается и через квадратный метр.

— Что вы имеете в виду? — спросил я.

— А вот погодите, — сказал Тихон и замолчал, и в этом молчании было столько самодовольства, что мне захотелось его слегка пристыдить. Но тактичность взяла верх.

Лев Игнатьевич глянул на часы, потом на небо, и в его лице появилось выражение, какое бывает у людей перед чем-то очень ожидаемым.

— Скоро, — сказал он тихо. — Если облака не помешают.

Лучик

Расскажу, что он объяснил мне, пока мы ждали.

Раз в году, в первых числах октября, ненадолго, на три или четыре минуты, солнце попадает в щель между двумя крышами и достигает дна нашего двора. Не стены, не верхних этажей, а самого асфальта. Казалось бы, мелочь. Но весь остальной год на дне колодца серо и сумрачно, и пятно света на асфальте появляется только в этот день, если, конечно, небо ясное. Лев Игнатьевич зовёт его «лучик». Он следит за ним с тех пор, как здесь работает, и пропускал, по его словам, только дважды: один раз из-за дождя, другой из-за простуды.

— А Зинаида Максимовна, — добавил он, — следит за лучиком с девяносто восьмого года. Мы с ней как-то разговорились, оказалось, оба ждём.

Я поднял голову. Жёлтые стены двора понемногу светлели. Ровно над нами, на самом верху, на самом краю карниза, золотилась тонкая полоска. Она ползла медленно, как ползёт всё в этом городе, не торопясь, но уверенно: по штукатурке, мимо окон, вниз.

И вот что меня поразило. Открылось одно окно, потом второе, потом третье. На лестнице хлопнули двери. Во двор вышла Зинаида Максимовна, маленькая, в вязаной кофте, с чашкой в руке, и молча встала у стены. Появился сосед с первого этажа, лохматый музыкант (он, как выяснилось, не только играет на гитаре, но и умеет стоять тихо). Вышла девочка лет семи с красным рюкзаком, и мама придержала её за плечо, чтобы не побежала. Из окна напротив высунулась чья-то голова, из другого вторая. Никто ничего не говорил. Радио Зинаиды Максимовны, оставленное в её комнате, продолжало звучать, но теперь будто тише, как будто и оно прислушивалось.

Свет дошёл до третьего этажа. До второго. До уровня арки. Остановился на секунду, словно проверяя, все ли на месте. И лёг на асфальт: чётким золотым пятном, шириной шагов в пять, с неровными краями, как на старой фотографии.

Я не стану описывать, как оно выглядело, потому что слова тут слабое подспорье. Скажу только, что пятно было тёплым. Я почувствовал это лапами, когда шагнул в него: асфальт, холодный все эти месяцы, на мгновение вспомнил, что такое лето. Лев Игнатьевич стоял, опершись на метлу, и лицо у него было такое, как у человека, встретившего старого друга. Зинаида Максимовна подняла чашку, будто чокаясь с лучом. Девочка с красным рюкзаком открыла рот и так и осталась стоять.

Тихон, который за секунду до этого собирался сказать что-то язвительное, сидел на лестнице, нахохлившись, и молчал.

Три минуты. Может быть, четыре. Пятно медленно сдвинулось к стене, поползло по кирпичу, вверх, истончилось и пропало. Двор снова стал серым, обычным, колодцем. Но никто не расходился. Люди стояли ещё немного, как стоят после хорошего концерта, когда аплодировать уже поздно, а уходить ещё рано.

Потом сосед-музыкант тихо сказал: «Ну, до следующего года», и этого оказалось достаточно. Двери закрылись, окна опустились, девочка потянула маму к арке. Двор вернулся к своему обычному гулу: метла, ведро, пружина, ми-бемоль.

— Вот и всё, — сказал Лев Игнатьевич. — Самый короткий и самый лучший концерт сезона. Билетов не продавали.

— Каркнуть бы что-нибудь умное, — пробормотал Тихон, — да нечего.

Это, пожалуй, лучший комплимент, какой я от него слышал.

Запись в реестре

К полудню я вернулся на свою кафедру. Лёг на подоконник, левое ухо к окну, правое к комнате. В окне был всё тот же носовой платок неба, но теперь он был иным. Это бывает: смотришь на привычное, а оно вдруг оказывается другим, потому что ты узнал о нём что-то новое.

Дарья, уже собравшаяся, заглянула в комнату и сказала:

— Опять ты тут философствуешь.

Я лениво ответил: «Позвольте уточнить, сударыня: это не философия, а наблюдение». Сливок она мне не дала, но я, подумав, решил, что и это в каком-то смысле урок. Философия вообще редко сопровождается сливками.

Вечером, когда она ушла на репетицию, а двор опустел, я достал свой реестр. Это обычная стопка бумаг на подоконнике, на которой, как считает Дарья, я «просто сплю». Когтем, осторожно, чтобы не порвать, я сделал пометку. Шрифт ужасен, почерк узнаваем.

• *Первое: двор-колодец рождён не поэзией, а арифметикой. Не стоит обижаться на арифметику.*

• *Второе: из арифметики и тесноты вырастает этикет. Деликатность, прежде чем стать добродетелью, была необходимостью.*

• *Третье: теория, как бы красива ни была, должна уметь признавать, что её поправил дворник.*

И наконец, правило, с которого начинается эта книга:

≈ **Правило Аристарха №1:** ***Тесное место учит не толкаться, а слушать. А тот, кто научился слушать, не бывает одинок даже в колодце.***

Я закрыл глаза. Во дворе кто-то снова зашуршал метлой: шшух-шшух. Город, как всегда, не торопился. И я тоже.

Белая ночь на Дворцовом мосту

Должен признаться в слабости: я не люблю воду. Не боюсь, а именно не люблю, как не любят людей, которые слишком много говорят. Вода в Петербурге вездесуща, шумна и вечно куда-то спешит, а я придерживаюсь мнения, что всё достойное внимания стоит на месте и ждёт, пока на него посмотрят.

Но раз в году, в июне, я нарушаю свои принципы. В городе наступают белые ночи, и вся эта вода вдруг замедляется. Нева становится гладкой, как лист тёмного стекла, небо над ней перестаёт быть небом и превращается в бледную перламутровую раковину, а свет, который должен был бы уйти спать, остаётся и ходит по набережным в одиночестве, как гость, которого забыли проводить. Для кота, привыкшего к темноте как к союзнице, это зрелище почти неприличное. И всё-таки я иду смотреть.

В ту ночь, о которой пойдёт речь, всё получилось не по плану. Дарья, закончив работу над рецензией на премьеру, решила «немного подышать» и позвала с собой друзей, актёров и режиссёров, шумную компанию с бумажными стаканчиками и громкими суждениями о только что виденном спектакле. Меня она, как всегда, посадила в корзину-переноску с прорезью сбоку («чтобы кот смотрел по сторонам, он у меня культурный») и понесла к Адмиралтейской набережной.

Я не возражал. Однако, оказавшись у парапета, я понял, что слушать разговоры о том, был ли второй акт затянут, мне сегодня не хочется. Лапой я аккуратно поддел застёжку (мастерство, выработанное годами тренировок на кухонных шкафчиках), выскользнул на тёплый гранит и, не оглядываясь, пошёл вдоль набережной. Дарья, как я позже узнал, обнаружила пропажу только через сорок минут, когда обсуждение второго акта достигло апогея. Но об этом позже.

Ночь без ночи

Было без десяти час. Над Невой стоял тот особенный свет, который невозможно описать, не впадая в банальность, поэтому скажу осторожно: он был цвета жемчужной серёжки, которую давно носили и слегка потёрли. Шпиль Адмиралтейства с корабликом на конце казался нарисованным тушью по влажной бумаге. Стрелка Васильевского острова с Ростральными колоннами стояла на другом берегу, и в их тёмных силуэтах было что-то от строгих стражей, давно знающих, что ничего не случится, но не смеющих расслабиться.

Людей на набережной было много. Белые ночи в Петербурге служат поводом для всеобщего бодрствования: кто в пальто, кто в футболке, кто с пледом, кто с термосом. Все смотрят в одну сторону, на мост. В эту ночь, как и в каждую ночь навигации, его должны были развести.

Я устроился на гранитной тумбе под фонарём, который, как и все фонари на набережных в это время года, горел зря, из принципа, а скорее из вежливости к традиции. Вокруг меня, не замечая кота, как люди обычно не замечают лучших слушателей, шли разговоры.

Справа сидели три студента с гитарой. Один пел вполголоса что-то про «город, который не спит», второй спорил с третьим, нужно ли сегодня идти домой или можно продержаться до рассвета, и оба были убеждены, что продержатся. Слева, у самого парапета, стояла пара. Они не разговаривали, а просто смотрели на воду, и по тому, как она держала его за рукав, а он делал вид, что не замечает, можно было понять, что это один из тех вечеров, которые потом вспоминают через сорок лет.

Чуть поодаль, прислонившись к капоту жёлтого такси, курил водитель. Звали его, как я позже узнал, Рустам. Он приезжал сюда каждую ночь после смены, «на пять минут», и стоял по часу. Рядом с ним, сжимая путеводитель, застыл турист средних лет с лицом человека, который

одновременно счастлив и боится, что это сон. Говорил он на французском, но Рустам, судя по всему, понимал его без слов.

— Это правда, что мосты поднимаются каждую ночь? — спросил француз по-английски, с таким видом, будто ему обещали чудо и он хочет убедиться, что не обманули.

— Каждую, — кивнул Рустам. — Кроме зимы. Зимой Нева спит, и ей не нужны гости.

— Но это же… — француз поискал слово, — абсурд. Город разрезают на части. Чтобы пропустить корабли.

— Не разрезают, — спокойно ответил Рустам. — Разводят. Это разное. Ты разрезаешь — рана. А разводишь, это как двое отходят друг от друга, чтобы кое-кого пропустить. Потом снова сходятся.

Я одобрительно сощурился. Лучшее определение развода мостов я слышал именно от таксиста, и записал его в память для реестра. Философов в Петербурге хватает, но лучшие из них почему-то ездят на такси.

Господин в камзоле

Именно в этот момент я заметил его.

Он стоял чуть поодаль, у самого спуска к воде, спиной к людям и лицом к реке. Невысокий, крепкий, широкоплечий, в тёмном суконном кафтане с широкими обшлагами, в чулках, в тяжёлых башмаках с пряжками. Волосы коротко подстрижены, почти по-нашему, по-кошачьи, а лицо обветренное, с глубокими морщинами у глаз. Он стоял совершенно неподвижно и смотрел на воду так, как смотрят на дверь, за которой ждут кого-то очень важного.

И тут моя непреодолимая вежливость сыграла со мной злую шутку. Я подумал: реконструктор. В городе то и дело встречаешь людей в исторических костюмах: на фестивалях, парадах, экскурсиях, промо-акциях. Наверное, закончил выступление и теперь стоит один, размышляя о бренности ремесла. Я подошёл, сел у его ноги, посмотрел снизу вверх и сказал, то есть «заметил», самым почтительным своим тоном:

— Мррр. Прекрасная работа, сударь актёр. Костюм безупречен.

Он опустил голову, увидел меня, и на его лице не было ни удивления, ни испуга, а только лёгкая усталая улыбка. Он присел, медленно, как человек, привыкший нагибаться на качающейся палубе, и кивнул мне.

— Благодарствую, зверь. Но то не костюм. Что на мне, то и есть.

Я замер. Шерсть на загривке слегка приподнялась, не от страха, а от того особого холодка, который испытывает кошка, когда в воздухе рядом с ней оказывается что-то не вполне согласованное с расписанием. Присмотревшись, я обнаружил, что сквозь его кафтан слабо, как сквозь мутное стекло, виден парапет. А когда он говорил, изо рта не шёл пар, хотя ночь была прохладной.

Моё смущение не поддаётся описанию. Принять призрака за реконструктора это, пожалуй, величайшая бестактность, какую может допустить культурный кот. Я поспешно сел прямее, обернул лапы хвостом и произнёс, насколько позволяет мой голос, как можно более официально:

— Прошу прощения. Я ошибся.

— Бывает, — сказал он. — Нынче многие в таком ходят. Я сперва думал, что мода воротилась.

Звали его Еремей. Фамилию он назвал, но она растворилась в ночном воздухе, как дымок, и я её не запомнил, о чём до сих пор сожалею. Он был боцманом. Строил Адмиралтейство, ещё в первые годы, когда никакого шпиля не было, а была только верфь да дощатые сараи, и работали на ней все, кто мог держать топор: плотники, кузнецы, мужики, согнанные со всей Руси, и несколько мастеровых иностранцев, которые ругались на трёх языках одновременно.

— Не люблю этот мост, — признался он, мотнув головой в сторону конструкции. — Не потому, что худой. Хорош мост. Но не было его. Тогда через реку на ботах ходили да на ялах. А вода — она живая была, никто её не разводил.

Корабль, который не пришёл

Мы сидели рядом, он у воды, я на тумбе, и разговаривали, насколько возможен разговор человека и кота, из которых один давно умер, а второй не умеет говорить. Но мы понимали друг друга. Я тогда подумал: то ли дело в белой ночи, то ли в том, что я кот, которому дано слышать то, что другим недоступно. «Кошки видят то, что отложено», сказал бы Тихон, и я с ним согласен.

Выяснилось вот что. Еремей ищет корабль. Не абы какой, а свой: небольшой галиот, на котором он ходил боцманом. Они вышли из Петербурга однажды утром, давным-давно, по весне, и Еремей, как положено, остался на берегу проверить снасти, а корабль должен был стать на рейде и дождаться его. Но налетел шторм, судно унесло, и больше его никто не видел. Еремей остался на берегу.

— Я с тех пор тут, — сказал он без жалобы, ровно, как человек, перечисляющий факты. — Всякую весну выхожу к воде. Вдруг придёт. Вдруг ветер переменился.

— Давно? — спросил я, то есть вопросительно повёл хвостом.

— А кто его знает, зверь. Мосты уж понастроили, а я всё жду.

Я не знал, что сказать. Мне хотелось сказать что-нибудь утешительное, но утешения, придуманные заранее, всегда звучат фальшиво. К тому же я кот, и мои слова, увы, для людей остаются звуками. Поэтому я просто остался сидеть рядом. Иногда это единственное, что можно сделать, и, в сущности, не такое уж малое.

Он какое-то время молчал, а потом сказал тихо, не мне, а скорее самой воде:

— Всякую весну думаю: может, я не туда смотрю. Может, он давно пришёл, да я не узнал.

Тут я должен признаться, что слегка отвлёкся. Над рекой раздался первый сигнал: короткий, чёткий, деловитый, как звонок перед спектаклем. Люди на набережной задвигались, подтянулись к парапету, зашелестели, защёлкали телефонами. Начиналось.

Разводка

Я видел это много раз, но каждый раз как впервые. Огни на мосту мигнули. Движение остановилось, и по обоим концам встали полосатые шлагбаумы. Пролёт дрогнул, едва заметно, как вздрагивает во сне большое животное, и медленно, ужасно медленно двинулся вверх. Две огромные половины моста, от которых до этого можно было ожидать лишь прочности, вдруг показали, что способны на грацию. Они разошлись, как две ладони, раскрытые для объятия, и между ними оказался разрыв неба.

Люди на набережной стихли. Студент с гитарой перестал играть. Пара у парапета придвинулась друг к другу. Француз выронил путеводитель и не заметил. Даже Рустам, привыкший к этому зрелищу, перестал курить и смотрел на разведённый мост с лицом человека, который в сотый раз влюбляется в одно и то же.

— Вот они, — сказал вдруг Еремей негромко, — вот те ворота, которых не было.

И в этот момент по Неве, из-за Стрелки, из той самой жемчужной дали, медленно выплыл парусник. Настоящий, с тремя мачтами, с белыми парусами, подсвеченными ночным светом, с тёмным корпусом и позолоченной резьбой на корме. Должно быть, учебное судно, шедшее в Балтику с очередного фестиваля. Я знаю это умом. Но в ту минуту, на гладкой, как зеркало, воде, под разведённым мостом, в перламутровой белизне, он выглядел как корабль из времени, где корабли были не транспортом, а судьбой.

Он шёл под мостом медленно, бесшумно, величаво. Паруса чуть дрожали. Кто-то на набережной ахнул. Кто-то захлопал. Французский турист шептал что-то, кажется, молитву.

Еремей встал. Он стоял прямо, без пафоса, как стоят люди, которые много лет ждали и вдруг поняли, что ждали не того, чего думали. Лицо его было спокойно.

— Не мой, — сказал он тихо. — Не мой, а добрый. Хороший ход. Ходить будет.

Он поднял руку и приложил два пальца ко лбу, как делают, прощаясь со старшим по званию. Парусник, конечно, не мог его видеть. Но в ту секунду на корме что-то блеснуло: фонарь или отражение, а может, просто ветер тронул флаг. Не знаю. Я не берусь утверждать.

Еремей повернулся ко мне. Прозрачность его стала заметнее, контуры расплывались.

— Спасибо, зверь, что посидел. Один-то я всё ждал, а при тебе… поглядел. Понял.

— Что понял? — спросил я хвостом.

— Что корабли приходят, — ответил он, улыбаясь. — Только каждый раз другие.

Он шагнул к воде, и белая ночь, которая сама есть сплошное мерцание, приняла его в себя без шума, как принимает чашку молоко. На граните осталась лишь едва заметная сырость, да и та, наверное, была от Невы.

Рассвет и Дарья

Мост опустился. Огни погасли, сомкнулись два берега, и по асфальту опять пошли машины. Люди стали расходиться, оживлённо переговариваясь. Студенты затянули новую песню, пара пошла вдоль набережной, не расцепляя рук. Француз с влажными глазами пожал руку Рустаму, и тот только кивнул: дескать, не за что.

Меня нашла Дарья. Пришла с растрёпанными волосами, с зареванными (от беспокойства, конечно) глазами и с лицом человека, который готов был к худшему. Увидев меня на тумбе, она остановилась, выдохнула и, к моему удивлению, не стала ругаться.

— Аристарх, — сказала она шёпотом. — Ты где был?

Я ответил по-кошачьи: «Позвольте уточнить, сударыня: я был там, где нужен». Она, разумеется, не поняла. Но взяла меня на руки и прижала к себе так крепко, что я даже не стал возражать против такой бесцеремонности.

— Идём домой, — сказала она. — Ночь и так слишком длинная.

Я не стал спорить. Мы пошли по набережной, под светлеющим небом, и я смотрел через её плечо на Неву. Вода была гладкой и серебристой, шпиль Адмиралтейства светился в первых лучах, а на том месте, где недавно стоял боцман, сидела чайка и смотрела на нас с нахальным выражением.

Запись в реестре

Дома, уже на подоконнике, я достал реестр. Написал осторожно, когтем:

• Мост разводят не для того, чтобы разрезать город, а для того, чтобы пропустить тех, кто идёт мимо. Ждать корабль можно всю жизнь. Но вернётся он другим, и это не повод огорчаться.

И записал для будущих котов:

≈ **Правило Аристарха №2:** ***Тому, кто ищет дорогу домой, нужна не карта, а попутчик. Иногда достаточно просто посидеть рядом.***

Я закрыл реестр, лёг на бок и услышал, как за окном, во дворе-колодце, начинает свою партию метла Льва Игнатьевича: шшух-шшух. Утро началось. Город, как всегда, не торопился.

Кот и Медный всадник

В понедельник у меня набережные. Это правило, и я не нарушаю его без причины. Вторник отдан Васильевскому, среда подворотням, пятница Театральной площади, а понедельник Неве, потому что с началом недели полезно посмотреть на то, что течёт, и напомнить себе, что всё движется, даже когда вы сидите на месте.

Сегодня же пришлось выйти раньше обычного. Я проснулся затемно от ощущения, которое трудно объяснить человеку: у кошки оно рождается не в ушах и не в носу, а где-то в основании усов. Воздух стал плотнее. Пахло не просто водой, а чем-то большим, как пахнет у края ванны, когда её только-только начали наполнять. Западный ветер с залива толкал воду в устье, и Нева, как мне подсказывали усы, стояла высоко и неспокойно.

Дарья спала. Я выбрался на чёрную лестницу, потом через арку, мимо дремлющего Льва Игнатьевича (он дремал, сидя на тумбе, с метлой между колен, и это был единственный известный мне случай, когда метла отдыхала), и пошёл к реке.

Было ещё темно. Конец октября, самый честный месяц Петербурга, когда город перестаёт притворяться красивым для туристов и показывает свой настоящий характер: сырой, упрямый, мерцающий. Туман стелился над Невой и вползал на набережные. Фонари стояли в нём, как свечи в стакане воды.

Я шёл по Адмиралтейской набережной, мимо мокрого гранита, мимо сфинксов, которых оставил на потом, и наконец вышел на Сенатскую площадь.

Всадник в тумане

Он стоял там, где стоит всегда. Огромный, чёрный, неподвижный, вскинувший руку над рекой. Конь замер на краю гранитной скалы, встав на дыбы, и казалось, что в следующую секунду он сорвётся вперёд, в туман, в воду, в неизвестность. Но он не срывался. Он стоял уже двести с лишним лет.

Я люблю этот памятник и не люблю одновременно, как любят человека, которого невозможно ни понять, ни забыть. Рядом с ним становится тихо. Не потому, что он величественный (величественных в городе достаточно), а потому что он задаёт вопрос. И вопрос этот, как я заметил, у каждого свой.

Я сел у подножия скалы, обернул лапы хвостом и стал смотреть вверх. И тут сверху, с чёрной бронзовой головы, меня окликнули.

— Рано встаёте, господин философ.

Тихон. Ворон устроился на самой макушке Петра, прямо на лавровом венке, с таким видом, будто это его личный насест, пожалованный лично императором.

— Доброе утро, Тихон, — ответил я с достоинством. — Вам не кажется, что сидеть на голове у основателя города несколько неуважительно?

— Мне? — каркнул он. — Я ворон, у меня нет понятия «неуважительно». У меня есть понятие «удобно». Отсюда видно всё: Исаакий, Сенат, Неву, Адмиралтейство. Лучшая точка обзора в городе.

— Бронза холодная.

— Зато стабильная. Не как некоторые коты, которые приходят и уходят.

Мы устроились на привычный манер: он сверху, я снизу, он язвит, я отвечаю. Это, надо сказать, один из самых тёплых наших ритуалов.

Спор о цене

Начал, разумеется, он.

— Вот скажите мне, Аристарх, как культурный кот. Что вы думаете об этом господине под моими лапами?

Вопрос был с подвохом, и я это знал. Тихон любит задавать вопросы, на которые хочется ответить либо слишком горячо, либо слишком холодно.

— Я думаю, — сказал я после паузы, — что говорить «хорошо» или «плохо» о человеке, который основал город на болоте, значит упрощать.

— Упрощать! — Он возбуждённо переступил с лапы на лапу. — А то, что город построили на костях? Что сгоняли людей со всей страны, что мёрли они, как мухи, что столица поднялась на их костях? Это тоже упрощение?

— Нет, — сказал я. — Это правда. Но не вся.

— А вся какая?

Я подумал. Мне давно казалось, что с такими вопросами надо быть осторожным, потому что у каждого есть соблазн выбрать одну сторону и сделать её единственной.

— Вся правда в том, что цена была страшной, и никто её не отрицает. Но и то, что получилось, тоже правда: Эрмитаж, Мариинка, университет, Публичная библиотека, дворы, мосты, Ахматова, Достоевский, Бродский. Всё это выросло на той почве. И никто не может сказать, где проходит граница между тем и этим. Мы живём в городе, который построен на жертве. И обязаны помнить обе половины одновременно.

Тихон помолчал. Для ворона это означает, что он обдумывает.

— Хитро, — наконец произнёс он. — Ни за, ни против. Дипломат.

— Не дипломат, — возразил я. — Свидетель. Я кот. Мне положено видеть и не торопиться с приговором.

— А я птица, мне положено торопиться, — вздохнул Тихон. — Поэтому у меня мнение всегда готово заранее.

И вот в этот самый момент, когда мы оба замолчали, я услышал шаги.

Господин в запылённом сюртуке

Он вышел из тумана так тихо, что я заметил его не сразу. Невысокий, худощавый, лет пятидесяти пяти, в тёмном сюртуке с белёсой пылью на рукавах и коленях, в кружевном жабо, которое давно потеряло накрахмаленную жёсткость. Руки у него были необычные: сильные, широкие, с утолщёнными суставами, руки человека, который всю жизнь что-то лепил, резал и мял. На левой ладони виднелся давний шрам.

Он остановился перед памятником, откинул голову и стал смотреть вверх. Смотрел долго. Лицо у него было недовольное, придирчивое, как у учителя, проверяющего чужую тетрадь, но в глазах было что-то совсем другое, странно нежное.

Я решил, что это турист, и, как положено вежливому коту, подошёл поздороваться:

— Мррр. Доброе утро, сударь. Вы, вероятно, любитель медной скульптуры?

Он опустил на меня глаза, и губы его дрогнули.

— Любитель? Сударь кот, я любитель разве что собственных ошибок. А что до меди… — он поднял указательный палец, — это не медь.

— Простите?

— Бронза, — сказал он по-русски, с сильным французским акцентом, раскатывая «р». — Бронза, мсье кот. Сплав меди с оловом. Медь это то, из чего делают кастрюли.

Шерсть у меня встала дыбом, на этот раз от стыда. Я, который столько раз с гордостью рассказывал другим котам про «Медного всадника», оказался пойман на самой элементарной ошибке.

— Но его же так называют… — пробормотал я.

— Называют, — согласился он. — Это ваш поэт назвал. Поэт, не скульптор. Для поэта медь звучит лучше. И знаете, он был прав. Поэт вообще всегда прав больше, чем мы, мастера. Он видит, как это будут называть через сто лет. Мы только видим, как это сделать.

Я сел прямо, обернул лапы хвостом и сказал, как можно официальнее:

— Прошу простить мою неосведомлённость. С кем имею честь?

— Этьен Морис, — ответил он. — Фальконе. Был скульптором. Недолго был даже придворным.

Человек, которого не позвали

Я не стану пересказывать весь наш разговор, потому что он занял более часа, а у меня в реестре не так много страниц. Скажу главное.

Он рассказал, что приехал в Петербург по приглашению императрицы, привёз с собой ученицу, молодую Мари-Анн Колло, которая, как он с гордостью говорил, вылепила голову Петра лучше, чем он сам мог бы. Что работал над памятником двенадцать лет. Что спорил со всеми: с вельможами, с академиками, с самой императрицей. Он хотел, чтобы постамент был не отполированной глыбой, а настоящим диким камнем, огромной скалой, привезённой из-под Лахты. Говорили, что такую громаду невозможно доставить. Её доставили. Камень этот зовётся Гром-камнем. По преданию, его когда-то раскололо молнией.

— Мне говорили: господин Фальконе, сделайте приличный пьедестал, гладкий, с барельефами, как в Париже. А я отвечал: нет. Он должен стоять на скале. Скала — это стихия, и человек на ней, это первый, кто стихии не испугался.

— Вы поссорились, — осторожно сказал я.

— Мы очень сильно поссорились, — вздохнул он. — Я уехал в тысяча семьсот семьдесят восьмом. Работа была почти закончена, но оставались споры, отчёты, обиды… Я уехал, и памятник открыли без меня. В тысяча семьсот восемьдесят втором. Я не видел ни церемонии, ни площади, ни реки. Мне рассказывали в письмах.

Он замолчал. Лицо у него стало другим: усталым и совсем не придирчивым.

— Вот я и пришёл посмотреть, — добавил он. — Вдруг получилось.

Тихон сверху хранил уважительное молчание. Это был, пожалуй, второй раз в жизни, когда я видел ворона без комментариев.

Что хотел сказать скульптор

— Знаете, о чём я думал, когда делал его? — Фальконе снова посмотрел на всадника. — Не о победителе. Я не люблю победителей, у них скучные лица. Я думал о моменте, когда человек остановился на краю. Видите? Конь на дыбах, ещё секунда, и он прыгнет в пропасть. Но всадник его удерживает. Рука протянута вперёд: туда, на реку, на горизонт, в будущее. Он не бросается и не отступает. Он держит равновесие.

Я посмотрел на памятник другими глазами. Действительно, в нём не было победного рёва, а было напряжённое, сдержанное усилие: пауза на краю, которая длится уже два века.

— И знаете, — оживился он, — как этот конь не падает? Ведь он стоит на двух ногах, а центр тяжести где-то сзади. Любой другой скульптор сделал бы пьедестал с подпоркой. А я сделал змею.

— Змею?

— Вот она. — Он указал на бронзовое тело, извивающееся под копытами. — Змея это не только символ зла, мсье кот, хотя и это тоже. Она держит. Видите, хвост коня ложится на неё, и получается третья опора. Конь стоит на двух ногах и на хвосте, как на треножнике. Равновесие не в одной точке, а в трёх. Вот в чём секрет.

Он улыбнулся впервые за всё время.

— Человек, который хочет удержаться на краю, не может рассчитывать только на себя. Ему нужна ещё одна опора. И желательно, чтобы это была не та, которую он выбирал.

Я слушал и чувствовал, как внутри что-то складывается. Спор с Тихоном про цену, про кости, про жертву, про великое и страшное: всё это вдруг оказалось не спором, а рассматриванием одной и той же конструкции с разных сторон. Памятник не оправдывает и не обвиняет, а удерживает равновесие. А мы, живущие рядом, учимся делать то же самое.

Утро

Туман начал редеть. Небо над Невой посерело, потом порозовело. Вода, которая ночью казалась угрожающей, засеребрилась и успокоилась: ветер сменился, и вода отступала. Город в этот раз был пощажён.

На площадь пришли первые люди: дворник с лопатой, студентка с кофе, пожилая пара с фотоаппаратом. А затем показалась женщина с маленьким мальчиком в красной шапке. Он шёл, держась за её руку, и смотрел вверх с серьёзным лицом человека, решающего сложную задачу.

— Мам, — сказал он вдруг на всю площадь, — а почему конь не падает?

Мама растерялась.

— Ну… он же бронзовый, тяжёлый.

— А почему он на двух ногах стоит и не падает?

Фальконе, стоявший рядом со мной, вздрогнул. Потом наклонился к мальчику (тот, разумеется, его не видел) и сказал тихо, с поразительной нежностью:

— Хвост, мой друг. Хвост и змея. Третья опора.

Мальчик остановился. Посмотрел на коня. Прищурился. И вдруг сказал, словно услышав:

— А, у него хвост! Он на хвосте стоит!

Мама рассмеялась и подхватила его на руки.

Фальконе выпрямился. Лицо у него было спокойное, почти счастливое.

— Получилось, — сказал он негромко. — Спрашивают. Значит, получилось.

Он повернулся ко мне, склонил голову в учтивом поклоне, каким раскланиваются коллеги, и пошёл в туман, который, словно только его и ждал, сомкнулся за его спиной. Я смотрел ему вслед. На граните остались лишь едва заметные белёсые следы пыли, должно быть, гипсовой, и они исчезли, когда налетел первый утренний ветер.

— Ну вот, — произнёс Тихон сверху, прочистив горло. — Я вам скажу, Аристарх, неловко получилось. Такого собеседника упустил, а сам ни слова.

— Вы молчали, — заметил я. — Это лучшее, что вы могли сказать.

— Не привыкайте, — буркнул ворон, но в голосе было тепло.

Запись в реестре

Домой я вернулся к девяти. Лев Игнатьевич уже подметал двор. Я кивнул ему, он кивнул мне, и мы оба сделали вид, что ничего не произошло. Дарья пила кофе у окна и, заметив меня, спросила: «Где ты был?» Я ответил хвостом: «Позвольте уточнить, сударыня: я был в гостях у равновесия». Она, как обычно, не поняла и налила мне воды.

На подоконнике, в лучах позднего октябрьского солнца, я достал реестр и записал:

• *Памятник не оправдывает и не обвиняет. Он держит равновесие на краю. Цена и величие в нём лежат рядом, и честно смотреть надо на обе.*

• *Медь тут ни при чём. Бронза. Поэт знал, что делает, когда ошибся.*

• *Есть мастера, которых не звали на собственное открытие. Они всё равно приходят потом, в туман, чтобы убедиться, что их работа спрашивает.*

И наконец, главное:

≈ **Правило Аристарха №3:** ***Тот, кто стоит на краю, держится не на одной опоре. Хочешь удержаться, найди себе третью точку: чаще всего это не то, что ты выбрал.***

Я закрыл реестр, свернулся на подоконнике и закрыл глаза. Во дворе зашуршала метла. Город, как всегда, не торопился. И Всадник на площади, я знал это точно, тоже никуда не спешил.

Наводнение 1824-го: что помнит подвал

В середине ноября петербургские кошки становятся задумчивее обычного. Люди списывают это на сезон: темнеет рано, батареи шумят, дождь стучит по жести. Но у кошек есть своё объяснение, и оно старше любой метеорологии.

Мы помним воду.

Не каждая из нас, разумеется, видела наводнение лично. Но в кошачьем мире существует предание, которое передаётся от матери к котёнку на чердаках и в подворотнях: когда-то, очень давно, в седьмой день ноября, вода пришла в город так внезапно, что даже кошки не успели подняться на верхние этажи. Говорят, что в тот день старые коты ушли с нижних этажей ещё накануне, потому что ощутили её приближение раньше всех приборов и колоколов. Говорят также, что с тех пор в подвалах поселился особый дух, который сторожит память и не любит, когда о ней забывают.

Предание это, как и все предания, одновременно правда и неправда. Но что седьмого ноября по старому стилю, то есть девятнадцатого по-новому, в тысяча восемьсот двадцать четвёртом году вода поднялась в городе на высоту, которая и сегодня кажется невероятной, это факт. Затопило Васильевский остров, Коломну, Петроградскую сторону, острова. Уровень воды превысил четыре метра над обычным. Погибли люди, пропали дома, плавали по улицам бочки, поленницы и лодки. В городе до сих пор есть отметки, где остановилась вода, и если пройти по Васильевскому с поднятой головой, то можно найти на стенах две-три таких мемориальных черты.

За неделю до годовщины мне пришла записка.

Записка от Муси

Муся из Апраксина двора обычно не пишет. Она приходит лично, садится напротив и сообщает всё одним предложением, без вступлений. Мы с ней много спорили о «настоящем городе»: она считает настоящим тот, что пахнет рыбой и мокрым картоном, а я тот, что хранит в стенах голоса. Каждый по-своему прав.

Но на этот раз она прислала с воробьём устное сообщение, которое пересказал мне, совершенно без выражения, Тихон:

— «Аристарх, на Васильевском в одном доме, в подвале, кто-то плачет по ночам. Прохор говорит, что это не мыши и не сквозняк. Он просит кого-нибудь интеллигентного. Муся».

— «Интеллигентного», — повторил Тихон и каркнул. — Это про вас, надо полагать.

Я задумался. Прохор, как мне было известно, самый старый кот на Васильевском, с шерстью цвета ржавой железной двери, хранитель подвала на одной из линий. Он не из тех, кто тревожится по пустякам. Если он просит прийти, значит, дело серьёзное.

Не скрою, при этих словах у меня внутри что-то напряглось. Подвал. Вода. Темнота. Всё то, что я, как философ, должен был бы воспринимать с интересом, но как кот переносил с трудом. Но отказаться значило бы потерять лицо. Я кивнул.

— Передайте Мусе: приду во вторник.

— Во вторник у вас Васильевский, — заметил Тихон. — Совпало.

— Я не верю в совпадения, Тихон, — сказал я. — Я верю в расписание.

Дом на линии

Дом оказался из тех, что стоят на Васильевском с давних пор: невысокий, трёхэтажный, с жёлтой штукатуркой, в трещинах, с лепным карнизом, на котором держалась зимняя ворона. Во дворе росла липа, давно потерявшая листья. У подъезда меня встретила женщина средних

лет в вязаном жилете и тапочках: Нина Андреевна, консьержка. Она, видимо, знала о кошачьих делах больше, чем полагается человеку.

— А, вот вы какой, — сказала она, оглядывая меня с уважительным интересом. — Прохор предупредил, что придёт «серьёзный». Проходите. Дверь в подвал я не закрываю, он просил.

Она провела меня через двор к низкой деревянной двери, окованной железом. За дверью вниз вели ступени, узкие, стёртые, каменные. Оттуда тянуло холодом и сыростью, а ещё, едва уловимо, чем-то солёным и тёмным, чем пахнет Нева в ноябре.

На верхней ступени сидел Прохор. Рыжий, крупный, неподвижный, с одним надорванным ухом. Он смотрел на меня снизу вверх пристально, без приветствия. Потом сказал, то есть низко «заметил»:

— Пришёл.

— Пришёл, — ответил я. — Рассказывайте.

— Некому рассказывать, — буркнул он. — Рассказывать нечего. Слушай сам.

Он встал, повернулся и пошёл вниз, не оглядываясь. Я вдохнул, закрыл на секунду глаза и пошёл следом.

Подвал

Тут надо признать честно: я не герой. Я кот, у которого есть принципы, но принципы не всегда равны смелости. Подвал, в который мы спустились, не был страшным в привычном смысле. Он был просто очень старым. Низкие сводчатые потолки, красный кирпич, закопчённый до черноты, стены, сочащиеся влагой, лужицы на неровном полу. Где-то капала вода: размеренно, с интервалом в шесть-семь секунд, как метроном в пустой комнате.

— Капает, — заметил я.

— Всегда капает, — сказал Прохор. — Подвал дышит.

Нескольких ступеней я прошёл молча, стараясь не думать о том, что вся эта вода над головой, под ногами и в стенах была когда-то рекой. Я думал о другом: что старые камни, как и старые люди, помнят самое важное, а забывают лишнее. Здесь, в подвале, лишнего не было.

— Ты чего хвост поджал? — спросил Прохор, не оборачиваясь.

— Я его не поджал, — возразил я с достоинством. — Я его бережно сохраняю.

— Ну-ну, — хмыкнул он. — Философ. А воды боится.

— Не боюсь, а не люблю, — уточнил я. — Это разные вещи.

— Не вижу разницы.

— Она в степени уважения.

Прохор замолчал, и мне показалось, что в темноте он улыбнулся.

Мы спустились ещё на несколько ступеней, свернули в боковой проход, и он остановился.

— Здесь.

Это был узкий тупик, в конце которого стояла старая деревянная бочка, рассохшаяся и серая. Рядом с бочкой, на нижней ступени крошечной лестницы, ведущей к заложенному кирпичом проёму, кто-то сидел.

Мальчик на ступеньке

Мальчику было лет девять. Босой, в холщовой рубахе, мокрой до нитки, с подогнутыми коленями, обхваченными тонкими руками. Волосы тёмные, слипшиеся. Лицо бледное и очень серьёзное. Он сидел, прислонившись спиной к стене, и смотрел на пол, на ту самую ступеньку, где вода, по всем законам физики, уже давно должна была бы высохнуть.

Я сразу понял, что он не живой. Это ощущается безошибочно: от живого человека пахнет теплом, кожей, хлебом, мылом. От мальчика пахло только рекой. Старой, холодной, ноябрьской. Не сегодняшней, а той самой.

— Он здесь давно, — тихо сказал Прохор. — Я его вижу с тех пор, как сам пришёл в этот подвал. А я здесь… давно. Кто ещё придёт, я не знаю. Он никому не мешает. Просто сидит и плачет, когда вода капает.

Я подошёл ближе. Мальчик поднял голову и посмотрел на меня. Глаза у него были серые, большие, и я ощутил в них что-то, чего не хватало ни одному из моих прежних призраков: ни усталости, ни тоски, а только напряжённое, терпеливое ожидание.

— Ты кот, — сказал он. — Умный?

— Стараюсь, — ответил я хвостом. И он, к моему изумлению, понял.

— Ты подскажешь мне? — спросил он шёпотом. — Высока ли вода?

Высока ли вода

Я сел напротив него на нижнюю ступеньку. Прохор остался стоять в проходе, как положено старому сторожу.

Мальчика звали Тимоша. Отец его был рыбаком на Васильевском, мать плела сети, они жили в низком деревянном доме неподалёку от берега. В то утро, седьмого ноября, ветер завыл так, что стены дрожали. Отец с утра ушёл на лодках, мать осталась дома. Тимошу отправили к соседке, в каменный дом, в подвал, перенести бочки с квашеной капустой на верх, «на случай».

— Вода пришла не по улице, — рассказывал он, глядя в пол. — Она пришла снизу. Из канав, из колодцев, из щелей. Сначала по ступенькам. Потом по колено. Потом бочки поплыли. Я хотел вытащить капусту, но вода… она… — он замолчал.

Я не торопил. Прохор тоже молчал.

— Я залез на эту бочку, — продолжал Тимоша. — Сидел и считал ступеньки. Одна, две, три. Вода шла по ним вверх. Тётка Агафья кричала сверху, чтобы я лез наверх, но дверь не открывалась. Я сидел. Потом вода дошла до пятой ступеньки и остановилась. А потом пошла вниз. Медленно. Очень медленно.

— Ты спасся, — сказал я осторожно.

— Спасся, — кивнул он. — Меня потом нашли. Но я пообещал себе: если вода придёт ещё раз, я первый скажу. Я буду сидеть на ступеньке и смотреть. И когда она начнёт подниматься, я закричу, и все успеют. Никто не успел в тот раз. Вот я и сижу.

Он поднял на меня глаза.

— Только я уже не помню, давно ли. Каждый раз, когда капает, мне кажется: идёт. Я считаю ступеньки. Одна, две, три. Но вода никак не доходит. А может, она всегда идёт? Ты не знаешь? Высока ли вода?

И тут я понял всё. Он не горевал по умершим, не мстил живым и не пугал. Он просто стоял на посту, как стоял бы любой десятилетний мальчик, которому доверили важное. А пост снять забыли.

Что я мог ответить

Я никогда не знал, что отвечать в такие минуты. Слова, подготовленные заранее, звучат неискренне. Слова, сказанные вдогонку, звучат бессмысленно. Единственное, что у меня есть, это присутствие и способность показать.

Я встал и пошёл вверх по ступеням. Тимоша поднялся и пошёл следом, босыми ногами по холодному камню, не оставляя следов. Прохор последовал за ним. Так мы втроём вышли из подвала во двор. Нина Андреевна стояла у двери, но, разумеется, не видела мальчика. Она только вздрогнула, когда мимо прошёл холодный ветерок, и поплотнее запахнула жилет.

Я вывел его на улицу. Там, на углу дома, на уровне чуть выше человеческого роста, на стене была прикреплена маленькая табличка с чертой: отметка уровня воды. Я не стану называть цифры, потому что не уверен в них, но высота её была такой, что человеку приходилось задирать голову.

Мальчик остановился. Посмотрел. Подошёл. Приподнялся на носочки.

— Это вода? — спросил он.

— Это была вода, — ответил я. — Вот докуда она дошла. Здесь остановилась и пошла назад.

— Так высоко? — прошептал он. — А я думал, до пятой ступеньки.

— До пятой ступеньки в подвале. А здесь она дошла до окон.

Он долго молчал, не отрывая взгляда от черты. Потом повернулся ко мне, и лицо его впервые стало детским, живым, удивлённым.

— А сейчас? Сейчас вода высока?

Я прислушался. Над домом висело сероватое ноябрьское небо, по улице спешили люди с зонтиками, из окна второго этажа неслась невнятная музыка. Нева была где-то там, за домами, спокойная, тёмная, тихая. Ветер дул ровно, без злобы.

Я подошёл к мальчику вплотную и коротко «заметил». Это значит: «Тихо». И тут, кажется, произошло то, чего Прохор ждал всю жизнь. Тимоша выдохнул, как человек, который много лет задерживал дыхание.

— Тихо, — повторил он. — Вода ушла.

— Она ушла давно, — сказал я.

— А я стерёг.

— Ты хорошо стерёг, — ответил я. — Спасибо. Теперь можно отдохнуть.

Он посмотрел на меня, потом на Прохора, потом на табличку, и улыбнулся так, как улыбаются дети, получив разрешение уйти с поста. Контуры его стали расплываться. Рубаха, мокрая до нитки, вдруг высохла. Волосы разгладились. Он стоял в обычном, почти не призрачном ноябрьском свете и казался самым живым существом на этой улице.

— Если вода придёт… — начал он.

— Придёт, — перебил я, — тебя найдут другие. Ты уже предупредил.

Он кивнул. Поднял руку и осторожно, двумя пальцами, коснулся моего уха. Я почувствовал холодок, как от капли дождя. Потом он растворился, медленно, без вспышек, как растворяются в чае крупинки сахара.

На стене осталась только табличка. А у моих лап лежала сухая ступенька, на которой никто не сидел.

Запись в реестре

Мы вернулись в подвал, пока Нина Андреевна недоумённо наблюдала за двумя котами, которые, по её мнению, вели себя необычно торжественно. Прохор остановился у бочки и сказал:

— Больше не плачет.

— Нет, — ответил я.

— Значит, можно спать спокойно.

— Можно.

Он долго молчал, потом добавил, не глядя на меня:

— Ты сказал, что не боишься воды. Врёшь.

— Не вру, — возразил я. — Просто я её уважаю.

— Ну, это другое дело, — буркнул Прохор, и впервые за всё время в голосе его мелькнуло тепло. — Приходи ещё, интеллигентный.

Домой я вернулся к вечеру. Дарья, уже зная мой обычай, поставила на подоконник блюдечко со сливками. Я не спросил, по какому случаю. Люди иногда чувствуют то, что не умеют назвать.

В реестре я записал, осторожно, когтем:

• *Подвал помнит то, что город забыл. Не потому, что мстит, а потому что стоит на посту.*

• *Страх перед водой не нужен. Нужна память о ней.*

• *Тот, кто сторожит, должен знать, что опасность ушла. Иначе он будет сторожить вечно.*

И правило:

≈ **Правило Аристарха №4:** ***Память о беде нужна не для того, чтобы бояться, а чтобы вовремя сказать: сегодня тихо.***

Я закрыл реестр и положил лапу на тёплую стопку бумаги. За окном шёл дождь, ровный, негромкий. Где-то далеко, в темноте, текла Нева, и она, как мне казалось, тоже слушала.

Блокадная кошка

Есть истории, которые я рассказываю охотно, с отступлениями, с шутками, с любимыми подробностями. А есть такие, о которых лучше говорить немного. Эта из вторых.

Двадцать седьмого января город просыпается тише обычного. Не потому что так положено, а потому что так выходит само. Люди идут по улицам чуть медленнее, разговаривают чуть тише, в окнах кое-где появляются свечи, а на лицах пожилых людей, которых в этот день особенно много на Невском и у набережных, лежит то выражение, которое трудно назвать печалью. Это скорее сосредоточенность. Так вспоминают то, что не исчезает, сколько бы лет ни прошло.

В этом году мороз ударил накануне, и утром двор-колодец звенел, как тонкий хрусталь. Лев Игнатьевич, когда я выходил, стоял у арки без метлы. Он только кивнул мне, и я кивнул ему. Иногда это лучший разговор.

Отец прислал за мной с Тихоном краткую записку: «Приходи в Эрмитаж. Сегодня особый день. Придёт человек». Тихон, зачитывая её, против обыкновения не вставил ни одного комментария. Я отметил это про себя и пошёл.

Служебный вход

В Эрмитаже, как известно, есть парадные лестницы, золочёные залы и очереди, вьющиеся вдоль набережной. Но у Эрмитажа есть и другой Эрмитаж: низкие переходы, дворы, подвалы и служебные двери, где пахнет не позолотой, а тёплым камнем, краской и крепким чаем. Именно там и живут эрмитажные кошки.

Они живут в подвалах и во дворах музея, и в залы им нельзя. Об этом правиле они осведомлены не хуже, чем смотрители, и исполняют его со смирением, которое, по моему мнению, делает им честь. Их кормят, лечат, у них есть сотрудники, которые за ними приглядывают. По кошачьему преданию, вся эта традиция началась ещё в середине восемнадцатого века, когда императрица Елизавета Петровна распорядилась привезти в столицу кошек для борьбы с мышами. Предание это, как и все предания, трудно проверить, но кошки Эрмитажа твёрдо в него верят.

Отец ждал меня у служебной двери. Маэстро Базилио: крупный, чёрно-белый, с подкрученными усами и взглядом человека, которого невозможно удивить. Он поздоровался без лишних слов, коротко мазнул носом мне по лбу и повёл вниз по ступеням, в тёплый полумрак подвала, где на старых деревянных ящиках, на трубах и в коробках дремали десятки котов и кошек.

— В наше время, — начал он по традиции, — лепнина здесь была выше.

— Я знаю, отец, — ответил я. — Вы говорите это каждый раз.

— Потому что она была выше.

Мы оба сдержанно улыбнулись, и этим формальности закончились.

О чём не говорят

В тот день подвал был особенно тихим. Кошки не играли, не гонялись друг за другом. Они сидели рядами и смотрели на дверь. Я хорошо знаю этот взгляд. Это взгляд тех, кто ждёт гостя, которого уважает.

— Каждый год, — тихо сказал Базилио, — в этот день она приходит.

— Кто?

— Сам увидишь. Её зовут Александра Николаевна. Ей за восемьдесят пять. В сорок втором ей было пять лет.

Он замолчал. Я тоже. Здесь, как мне казалось, любая фраза могла быть лишней.

Должен пояснить, как устроена эта тема в кошачьей памяти. Мы знаем, что в блокаду кошек в городе почти не осталось. Это знание у нас в крови, как знание направления ветра. Мы не обсуждаем, что именно произошло и почему. Не потому, что стесняемся правды, а потому что видим, как больно людям это вспоминать, и считаем, что тактичность важнее любопытства. Есть вещи, которые принадлежат тем, кто их пережил. Кошки, как умеют, это уважают.

Зато мы хорошо помним другое: как они вернулись.

Александра Николаевна

Она пришла около полудня. Я услышал её раньше, чем увидел: лёгкие, неровные шаги по ступеням, потом кашель, потом тихое «ну вот, здравствуйте, мои хорошие». Низкая служебная дверь приоткрылась, и в проёме показалась маленькая женщина в тёмном пальто и вязаном берете, с седыми прядями, выбившимися на висок, и сумкой в руках. В сумке, как выяснилось, лежали свёртки с рыбой и баночка сметаны.

Лицо у неё было сухое, тонкое, очень спокойное. Глаза светлые, внимательные. Она поставила сумку на ящик, достала свёртки и стала раскладывать лакомства по блюдцам, разговаривая с кошками вполголоса, называя по именам, которых я не знал. Кошки подходили без толкотни, одна за другой, как на приём.

Заметив меня, она остановилась.

— А это кто у нас новенький? Красавец какой. Серый, как балтийское небо. Не здешний?

— Здешний, — ответил за меня Базилио. — Мой сын.

Она, разумеется, не поняла, но улыбнулась ему так, словно поняла всё, и осторожно протянула мне кусочек рыбы. Я принял его с достоинством и, не удержавшись, потёрся о её руку. Рука была тёплая, сухая и пахла хозяйственным мылом и осенними яблоками.

Она села на ящик, и я, повинуясь внутреннему порыву, который редко себе позволяю, устроился рядом. Не на коленях: это было бы бесцеремонно. Просто рядом. Достаточно близко, чтобы она знала, что я здесь.

— Я сюда каждый год прихожу двадцать седьмого, — сказала она, не обращаясь ни к кому. — Лет тридцать, наверное. Раньше с мужем, потом одна. Сотрудницы пускают. Они хорошие.

Апрель

Она молчала долго. Я слушал, как где-то в дальнем углу капает вода из трубы и как шуршит кошачья шерсть о дерево ящика.

— Я ведь почти ничего не помню, — произнесла она наконец. — Мне было пять. Помню тишину. Помню, что было холодно, всегда холодно. Помню хлеб… — она сделала паузу, — сто двадцать пять граммов. Это я не помню, мне потом мама говорила. Цифру помню, не вкус.

Она посмотрела на свои руки.

— У нас был кот Васька. Рыжий, пушистый. Я его очень любила. Потом его не стало… — она остановилась. — Не будем об этом. Я никогда об этом не говорю. Просто был Васька, а потом его не было, и в доме стало совсем тихо.

Я не шелохнулся. Только сжал лапы чуть крепче.

— Но вот что я помню хорошо, — голос её чуть потеплел. — Весной сорок третьего, в апреле, на нашей улице вдруг заговорили: кошек привезли. Из Ярославля. Целые вагоны. Мама сначала не поверила: как это, в такое время кошек везти? Но потом взяла меня за руку, и мы пошли. Люди стояли в очереди. Тихо, молча, как за хлебом. И когда вынесли корзины, а в них сидели кошки, дымчатые, пепельные, крупные, строгие… Это что-то было. Их разобрали, говорили, за какие-то полчаса. По одной на семью, на квартиру. Нам досталась Дымка.

Она улыбнулась так, как улыбаются, вспоминая самое важное.

— Дымка. Серая, с белым пятнышком на лапе. Я её на руках несла, а она молчала, только смотрела. Дома мама поставила для неё блюдце. Не знаю, что было в блюдце. Наверное, тот же кусочек хлеба с водой. А Дымка посмотрела и.… съела. Всё до крошки. И легла на подоконник. Мама заплакала. А я не поняла, почему.

Она снова замолчала. Я тоже. Потому что, кажется, понимал.

Что они делали

— Дымка у нас жила до пятьдесят пятого года, — продолжала Александра Николаевна. — Хорошая была кошка. Умная. Она, между прочим, крыс не просто ловила. Она делала вид, что их нет, пока те не выходили на свет. Потом р-раз. Мама говорила: «Вот ведь работа какая, всю жизнь на посту».

Она тихо рассмеялась.

— Говорят, их привезли много, и потом ещё из Сибири, и они очень помогли. Что город очистили от крыс. Что в Эрмитаже снова можно было работать. Я в этом не разбираюсь. Я только помню, что с кошкой в доме стало… как бы сказать… стало можно жить. Не лучше. Просто можно.

Она провела рукой по спине сидевшей рядом пегой кошки.

— Вот я и прихожу. Говорю им спасибо. Не этим, конечно. Но ведь они потомки. Или нет? Не знаю. Но им передаётся.

Я слушал и впервые за много лет не знал, что мне делать с собственной эрудицией. Я мог бы рассказать о постановлении, о четырёх вагонах, о том, как это обсуждали, как организовывали. Но рядом сидела женщина, которая помнила не документ, а блюдце. И этого было вполне достаточно.

Что я мог бы рассказать

Пока она гладила пегую кошку, я невольно перебирал в голове то, что знаю. Привычка. Эрудиция у кота, как усы: убрать нельзя, а мешать иногда может.

Я знаю, что весной сорок третьего, вскоре после прорыва блокады, вышло распоряжение: привезти в Ленинград из Ярославской области четыре вагона дымчатых кошек, которые считались лучшими крысоловами. Знаю, что называют общую цифру около пяти тысяч, хотя историки спорят, сколько кошек было привезено из Ярославля, а сколько позже из Сибири, и в разных источниках числа расходятся. Знаю, что в тюменских рассказах сохранилась память о котах, отправленных в Ленинград «на специальное задание», и что в Тюмени им поставили памятник. Знаю, что блокада длилась восемьсот семьдесят два дня и была снята полностью двадцать седьмого января сорок четвёртого. Знаю, что картины и сокровища Эрмитажа ещё в сорок первом увезли в эвакуацию на Урал, а подвалы музея стали убежищем для сотрудников, и что работа в нём не прекращалась.

Я мог бы сказать всё это. Мог бы поправить даты и добавить подробности, уточнить, в каком месяце прибыл первый эшелон, и какие кошки считались лучшими. Но рядом сидела женщина, для которой всё это было не цифрами, а Дымкой с белым пятнышком на лапе, и я понял, что любая моя поправка прозвучала бы как лишний шум в тишине.

Эрудиция нужна, чтобы помнить. Но вспоминать вслух иногда должен тот, кто был рядом.

Вот почему я только слушал.

Что я не сказал

Когда она стала собираться, я встал. Бесшумно, чтобы не потревожить. Базилио встал рядом. Остальные кошки тоже поднялись и выстроились вдоль стены, будто почётный караул. Это не было ни церемонией, ни обязательной формальностью. Просто никто не скомандовал садиться.

Александра Николаевна заметила, остановилась, посмотрела на нас, и в её светлых глазах мелькнуло что-то такое, чему я не берусь подобрать слово.

— Ну что вы, — сказала она негромко. — Ну полно. Что вы так.

Затем она наклонилась, погладила меня по голове и произнесла:

— Спасибо, серенький. Вы хорошие.

Я проводил её до двери. Не потому, что было нужно, а потому что хотелось. На улице стоял тот самый звонкий январский мороз, и воздух был такой чистый, что дышалось почти больно. Она поправила берет, кивнула мне и пошла по набережной, маленькая фигурка в тёмном пальто, прямая и неспешная. Я смотрел ей вслед, пока она не скрылась за поворотом.

Базилио подошёл и встал рядом.

— Каждый год приходит, — повторил он.

— Каждый год будем встречать, — ответил я.

Он ничего не сказал. Только коротко, одним движением, прижался боком к моему боку. Мой отец не любитель нежностей. Это было больше, чем любое слово.

Обратно я шёл не спеша, вдоль Невы. Лёд у берегов стоял белыми плитами, вода между ними была чёрной и неподвижной. На Дворцовой набережной встречались редкие прохожие, и у многих в руках были цветы или маленькие свечи в стаканчиках. Никто не говорил громко. Девочка лет десяти шла за руку с бабушкой и вполголоса спрашивала: «А потом что было?» Бабушка отвечала так же тихо, коротко, и девочка слушала, не перебивая. Я подумал, что вот так, шагом, из рук в руки, и передаётся память: не лозунгом, а вопросом и ответом на морозе.

Запись в реестре

Домой я вернулся поздно. Дарья ждала у двери и, увидев меня, поняла что-то без слов. Налила воды, села рядом на пол и долго молча гладила меня за ухом. Я не возражал.

Когда она ушла, я достал реестр. Впервые за все записи я не знал, что написать. Обычно у меня выходят три наблюдения и афоризм в конце. Но в этот раз афоризм не складывался.

Я долго лежал на подоконнике, глядя на тёмный двор. Потом всё-таки приподнялся и написал коротко, осторожно, когтем:

• *Двадцать седьмое января. Эрмитаж, подвал. Александра Николаевна, пять лет в сорок втором. Дымка, серая, с белым пятнышком на лапе, апрель сорок третьего.*

• *Я ничего не добавил. Не стал объяснять и толковать.*

И всё-таки правило записал, потому что без него реестр был бы неполным:

≈ **Правило Аристарха №5:** ***Есть истории, которые не нужно объяснять. Их нужно слушать и помнить имена.***

Я закрыл реестр. За окном светилась тонкая полоска неба над крышами. Метла Льва Игнатьевича в ту ночь молчала, и двор спал. Город, как всегда, не торопился. Но в тот вечер, думаю, не торопиться ему было особенно необходимо.

Дворы, лестницы, парадные

В Петербурге нельзя говорить «подъезд». Это не запрет, а скорее вопрос самоуважения. В других городах люди входят в подъезд. У нас входят в парадную. Слово это странное, вроде бы торжественное, а на деле означает дверь с кодовым замком, три лампочки, из которых горят две, и запах свежей краски поверх запаха старой. Но произносить его надо с лёгким уважением, как имя дальнего родственника, которого все побаиваются, но любят.

Среда у меня отдана подворотням. Я прохожу их по маршруту, сложившемуся за годы: от арки на Моховой до тёмного туннеля на Фонтанке, оттуда через два проходных двора на Литейный, а дальше, как получится. Подворотня для кота это не просто проход. Это место, где город снимает пиджак. На улице он фасад, а в подворотне уже человек: в майке, с чашкой, чуть растрёпанный и потому более искренний.

В ту среду стояло бабье лето. Листья желтели, но не торопились падать, воздух пах нагретой штукатуркой и яблоками из чьей-то сумки. Я шёл неспешно, сворачивая в тени, и вдруг услышал впереди оживлённый женский голос:

— А теперь, друзья мои, обратите внимание на дверь!

Я остановился.

Экскурсия

У входа в большую парадную на Литейном стояла группа из девяти человек. Впереди, с флажком на палочке и с видом полководца перед решающим штурмом, ходила молодая женщина лет двадцати пяти в кедах и с хвостом на макушке. На флажке было написано: «Парадные Петербурга: двери, которые обычно не открывают». Ниже мелкими буквами: «Лиза, гид».

Группа была пёстрой. Супружеская пара из Москвы в одинаковых ветровках. Двое студентов с фотоаппаратами, на которых болтались брелоки в виде чебурашек. Пожилой мужчина с седой бородкой и взглядом инженера, привыкшего проверять чертёж на соответствие жизни. Семья с мальчиком лет восьми, который изучал асфальт с научным интересом. И женщина в большой шляпе, чья роль, как мне показалось, заключалась в том, чтобы время от времени говорить «ах, какая прелесть».

Я оценил ситуацию. С одной стороны, меня никто не звал. С другой, парадные и дворы — это моя профильная тема, и пройти мимо означало бы нарушить профессиональную этику. Поэтому я сделал то, что делает любой воспитанный кот в такой ситуации: уселся на краю группы с таким видом, будто я там и был.

Никто не удивился. Мальчик показал на меня пальцем и сказал: «Мам, кот тоже на экскурсии». Мама ответила: «Конечно, они тут все культурные». Я принял это как комплимент.

Парадная номер один

— Итак, — Лиза взмахнула флажком, — перед вами образец парадной эпохи модерна. Обратите внимание на витраж, на плитку «метлахскую», на лепнину над входом. Всё это сделано для того, чтобы гость, входя, с первых шагов понимал, к кому он пришёл.

Мы вошли. Это было красиво. Витраж с лилиями рассыпал по лестнице цветные пятна, и они лежали на ступенях, как рассыпанные конфеты. Плитка под ногами складывалась в узор, который хотелось разглядывать, наклонив голову. Перила чугунные, с завитками. Зеркало на первой площадке в старой раме. И, конечно, лифт: изящная железная клетка, поднимающаяся по винтовой шахте посреди лестницы.

Лифт был прелестью, и я это отмечаю с уважением. Но тут Лиза сказала:

— А лифт, между прочим, здесь стоял ещё со времён Петра Великого!

Я невольно дёрнул ухом. Нет, это было слишком. Я, разумеется, не стал вмешиваться вслух, но внутренне поморщился. Лифты в петербургских домах появились гораздо позже, ближе к концу девятнадцатого века, а в доходных домах стали обычным делом уже на рубеже веков. При Петре Великом строились совсем другие здания и, как правило, на четыре этажа ниже.

Инженер с бородкой тоже, по-моему, заметил. Он поднял бровь, но промолчал. Мы обменялись коротким понимающим взглядом, как два профессора в зале, где докладчик ошибся в дате. Это было приятное чувство.

— Простите, — вдруг вмешался москвич в ветровке, — а правда, что в Петербурге не говорят «подъезд»?

Лиза просияла. Она явно ждала этого вопроса.

— Совершенно верно! Подъезд это то, куда подъезжают. А парадная это то, куда входят. Здесь всё серьёзно. У нас парадная, поребрик, шаверма и булочная.

— А в Москве бордюр, шаурма и булочная, — задумчиво сказала жена москвича. — Видишь, булочная общая.

— Булочная общая, — согласилась Лиза. — Это нас и объединяет.

Все засмеялись, и даже я позволил себе лёгкое шевеление усов.

Современность

Тут стоит сказать, что парадные двадцать первого века это отдельная тема, и я наблюдаю её с живым интересом.

На стене рядом с витражом, например, висел деловитый белый ящик с мигающим огоньком: роутер. Кто-то из жильцов решил, что и в эпоху модерна должен быть Wi-Fi, и установил коробку на лепную нишу, где раньше, возможно, стояла ваза с цветами. Над ним какой-то остроумец приклеил бумажку: «Пароль у соседа из 14-й. Не просите». Рядом висела табличка с QR-кодом, ведущая, как пояснила Лиза, на историю дома, а чуть ниже, на облупленной краске, красовалась надпись маркером: «Вася + Оля = любовь. 2019». Вася и Оля, надо полагать, расстались, потому что сверху другой рукой дописано: «Оля, верни ключи».

Я сидел и разглядывал этот слой за слоем, как археолог. Резной модерн, советская краска, обои цвета «яичница», пластиковый почтовый ящик, домофон, стикер доставки. Всё вместе. Всё живое.

В этот момент дверь парадной с грохотом распахнулась, и мимо нас, как комета, пронёсся курьер в оранжевой куртке с огромным кубом за спиной. Он взлетел через ступеньку, на ходу набирая что-то на телефоне, бросил на бегу «Здрасьте!», вызвал лифт, одновременно ответил на звонок («Да, я уже тут, вторая парадная, вы меня слышите?»), втиснулся в клетку и исчез в её чугунном кружеве.

Экскурсанты проводили его взглядом.

— Вот, — тихо произнёс инженер. — Живой город. Красиво и по делу.

Я не мог не согласиться. Курьер был мне симпатичен. Он двигался по этому дому лучше, чем многие жильцы, и ни разу не споткнулся об историю.

Коммуналка

Но самое интересное ждало нас на четвёртом этаже.

Лиза остановилась у двери, на которой было приклеено несколько звонков. Над каждым подпись: «Петровой — 1 звонок», «Сидоренко — 2 звонка», «Кузнецов (НЕ ЗВОНИТЬ, РАБОТАЮ ВНОЧЬ)», «Тамаре Петровне — 4 звонка». Я оценил документ. Это был натуральный музей быта, только действующий.

— Друзья, — сказала Лиза вполголоса, — сейчас нас впустит Тамара Петровна. Прошу вести себя уважительно: это живая коммунальная квартира, которая ещё остаётся таковой. Там живут люди. Мы туда как в гости.

Она нажала на звонок четыре раза. Дверь открылась не сразу, а когда открылась, в проёме стояла женщина лет семидесяти, невысокая, круглолицая, в домашнем халате с ромашками и тапочках. На плече у неё висело полотенце, как знамя.

— А, Лизонька, проходите, проходите, — сказала она. — Я вам чайник поставила. Только тапочки сами берите, вон там, в углу. И обувь на коврик, а то Кузнецов опять скажет.

Мы вошли. Коридор был длинным, тёмным и удивительным. Над головой на стене висел велосипед. На вешалках теснились пальто всех эпох. Под потолком качалась голая лампочка в патроне. На стенах: полки, часы, календарь за 2011 год. На одной двери табличка: «Кухня общая. Чужое не брать». На другой: «Ванная. Лампочку выключать!». И ниже: «Лампочка моя. Кузнецов».

Мальчик шёпотом спросил маму:

— А почему у каждого своя лампочка?

— Потому что раньше каждый платил за свой свет, — ответила Тамара Петровна, услышав. — Вот и ставили свои выключатели, свои лампочки. Мы, правда, давно всё делим по-человечески. А лампочки для порядка оставили. Традиция.

Тут её взгляд упал на меня. Она замерла, всплеснула руками и воскликнула:

— Батюшки, а это что за кавалер? Какой серьёзный! Лиза, ты кота нанимаешь?

— Это сам пришёл, — честно ответила Лиза. — Присоединился.

— Ах ты, интеллигент! — Тамара Петровна наклонилась и почесала меня за ухом. — Ну проходи, проходи. У нас своего Бубликова зовут, он тебе расскажет, где что.

Бубликов оказался рыжим, толстым, с обиженным лицом человека, у которого отобрали последнее печенье. Мы познакомились в коридоре. Он смерил меня взглядом и заметил:

— Это моя территория.

— Безусловно, — ответил я учтиво. — Я здесь в гостях и только по приглашению хозяйки.

— Тогда ладно, — смягчился Бубликов. — А то тут вечно ходят.

Чай и тактичность

Мы просидели у Тамары Петровны на кухне минут сорок. Нас напоили чаем из толстых чашек, угостили вареньем и печеньем «Юбилейное». Тамара Петровна рассказывала, как жила в этой квартире с девяти лет, как здесь было двенадцать семей, как делили плиту, как у каждой семьи на кухне стоял свой столик, а на нём свои кастрюли. Как по звонку знали, кто пришёл. Как ссорились и мирились. Как умели не слышать того, чего слышать не следовало.

— Знаете, — сказала она, прихлёбывая чай, — все говорят: коммуналка, ужас. А я вам скажу: это школа. Научишься уважать чужое время, чужое молчание, чужую кастрюлю. Тут, если не уметь вежливо договариваться, жить нельзя. Потому мы, питерские, такие вежливые. Потому что другие вымерли.

Москвичи засмеялись. Инженер задумчиво кивнул. Лиза, поймав мой взгляд, одними губами произнесла: «Правда же?»

Я подумал, что где-то я это уже слышал. Давно, в каком-то другом дворе, от другого человека. Теория о том, что деликатность рождается из тесноты, получила второе подтверждение. И это, по-моему, делает её уже не теорией, а законом.

Лифт

Спускались мы по лестнице, но не все. Дело в том, что женщина в большой шляпе, посетив три этажа, заявила, что у неё «ноги не те» и что она поедет на лифте. Остальные тоже поду-

мали и решили, что это хорошая идея. Девять человек и один кот стояли у железной клетки и читали табличку: «Грузоподъёмность 4 человека».

— Мы же все влезем, — оптимистично предположил москвич.

— Это вряд ли, — заметил инженер.

— Давайте по двое, — предложила Лиза.

— Давайте все вместе, весело, — возразила женщина в шляпе.

И, разумеется, влезли все. Девять человек, один мальчик на руках у мамы и кот, который, из соображений общей безопасности, устроился на плече у инженера. Двери закрылись. Лифт со скрипом пополз вниз. На втором этаже остановился. На первом хрустнул. И замер между этажами.

Настала тишина.

— Ну, — осторожно сказал москвич, — вот и приехали.

— Спокойствие, — Лиза достала телефон, пытаясь найти сеть. — Я сейчас позвоню в диспетчерскую.

— А номер? — спросил кто-то.

— Он на табличке внутри, — Лиза глянула, — но табличка выцвела.

Мальчик восторженно сказал:

— Мам, мы застряли как в кино!

Я осмотрелся. Положение было комичным, но не безвыходным. Лифт-клетка, как известно, устроен просто: через его решётку видно площадку, и вся хитрость в том, что дверь снаружи придерживается маленьким рычажком. Я протиснулся между ногами к самой решётке, просунул лапу и лёгким точным движением толкнул рычажок. Что-то щёлкнуло, лифт дёрнулся, ухнул вниз на последние полметра, и двери открылись.

Группа высыпала на первый этаж. Все смеялись, переговаривались, кто-то хлопал меня по спине (я не одобрял, но терпел).

— Вы видели? — воскликнул москвич. — Кот открыл лифт!

— Я думаю, совпадение, — скромно заметила Лиза.

— Какое совпадение! — Москвич присел передо мной на корточки. — Слушайте, у вас тут даже коты разбираются в инженерии. Вы вообще настоящие.

Инженер с бородкой с достоинством протянул мне руку, то есть слегка коснулся пальцем моей головы:

— Благодарю вас, коллега.

Я кивнул. Обе стороны остались довольны.

Запись в реестре

Домой я возвращался уже в сумерках, через знакомые подворотни. В одной из них кто-то придержал мне дверь, не глядя, просто по привычке, чтобы я не остался за стеклом. Я прошёл и сказал: «Мррр», что означает «благодарю». Человек, не оборачиваясь, ответил: «Пожалуйста».

В реестре я записал:

• *Парадная это лицо дома. Чёрная лестница его характер. Коммуналка его школа.*

• *Современность не уничтожает историю. Она оклеивает её наклейками, вешает на неё роутер, пускает по ней курьера и всё равно ничего не стирает.*

• *Девять человек в лифте на четверых — это не безответственность, а вера в лучшее.*

И правило:

≈ **Правило Аристарха №6:** ***Дом хранит не лепнину и не плитку, а тех, кто придержал за собой дверь.***

Я закрыл реестр. За окном зажигались окна. В каждом из них, я знал, кто-то ставил чайник, чью-то лампочку выключал, кому-то звонил два раза. Город жил. Город, как всегда, не торопился.

Часть II. Музеи и залы

Эрмитажные коты: ночная смена

Мой отец, Маэстро Базилио, не любит приглашать. Он считает, что приглашение — это навязывание, а настоящая встреча должна происходить сама, как дождь. Поэтому, когда в пятницу вечером Тихон, глядя поверх моей головы с видом человека, несущего государственную тайну, прокаркал: «Вас ждут в Эрмитаже на ночную смену. Официально», я сначала подумал, что ослышался.

— Официально? — переспросил я.

— Именно так и сказано, — подтвердил ворон. — «Передай сыну: допуск оформлен, явка в полночь, форма одежды свободная».

— Какая у кота форма одежды?

— Вот и я думаю, — хмыкнул Тихон. — Видимо, шерсть.

Я долго размышлял над этим сообщением. Отец за всю мою жизнь ни разу не произносил слова «допуск». Для него слово «служба» всегда звучало как оскорбление. Он говорил, что кошка не служит, а присутствует. Но, видимо, что-то в мире изменилось. Или в отце. Я, как человек (то есть кот) вежливый, решил выяснить на месте.

Допуск

К служебному входу Эрмитажа я явился без десяти двенадцать. Была ясная холодная ночь, на небе висел тонкий серп луны, а Дворцовая площадь пустовала так величаво, что казалась декорацией, оставленной после спектакля. Во дворе меня ждал Базилио.

Он сидел на низкой каменной ступеньке, чёрно-белый, плотный, с неподвижными подкрученными усами, и в свете фонаря напоминал портрет на аудиенции. Рядом с ним стояла металлическая миска с блестящим ободком.

— Ты вовремя, — сказал он вместо приветствия.

— Вы пригласили официально.

— Это формулировка. Не придавай значения.

— Тихон сказал «допуск».

— Тихон склонен к драматизации. — Отец встал и потянулся. — Идём. Покажу, как это на самом деле.

Он повёл меня через служебную дверь в тёплый коридор с бетонным полом и жёлтыми лампами. Пахло краской, пылью и свежесваренным чаем. Над дверью висела табличка: «Служебный проход. Посторонним вход воспрещён». Базилио прошёл под ней с достоинством человека, которого здесь знают в лицо.

И действительно знали.

Виктор Палыч

В небольшой комнатке с окном-аквариумом сидел охранник. Мужчина лет пятидесяти, плотный, лысоватый, в форменной рубашке с закатанными рукавами. Перед ним на столе стояла кружка с надписью «Лучшему дежурному», термос, пачка печенья и экран с шестнадцатью маленькими квадратиками камер. В одной руке он держал телефон, в другой печенье. Выражение лица у него было такое, будто он смотрел очень интересный сериал и не собирался это скрывать.

Заметив нас, он оживился.

— Василий Васильевич! Вот и вы. — Он отложил телефон и степенно кивнул отцу. — А это кто с вами? Сын, что ли?

— Сын, — подтвердил Базилио. То есть коротко мазнул хвостом по полу, но Виктор Палыч понял без перевода.

— Сын? Ишь ты! Серьёзный какой. Ну заходи, заходи.

Я замер. «Василий Васильевич». Мой отец, как оказалось, имел официальное человеческое имя, под которым числился в этой комнате, вероятно, лет двенадцать. Он носил его с невозмутимостью, но я заметил, как дрогнул кончик его уса, когда я посмотрел на него.

— Не комментируй, — тихо заметил он.

— Я молчу.

— Вот и молчи.

Виктор Палыч тем временем налил в блюдечко сливок (из термоса!) и поставил на пол.

— Ночная смена, — приговаривал он, — это тебе не шутки. Тут надо бдеть. Вон камеры, вон датчики, вон тревожная кнопка. А если что, я сразу звоню. А Василий Васильевич у нас по общему профилю: по подвалам, по двору, по проверке.

— Проверке чего? — не удержался я хвостом.

— Всего, — серьёзно ответил отец. — Чтобы всё было на месте.

Палыч подмигнул мне и добавил, что отец «не просто кот, а целое подразделение». Я кивнул с уважением.

Обход

Дальше мы пошли по ночному Эрмитажу. Точнее, по тому, что находится рядом с ним, под ним и вокруг, потому что в залы, как известно, кошкам вход заказан. Отец соблюдает это правило неукоснительно: он считает, что порог зала — это такая же граница, как граница государства.

Мы шли по служебным переходам, мимо кладовок, лифтов и бесконечных труб, окрашенных в цвета больничных коридоров. Где-то гудела вентиляция, где-то поскрипывала дверь. Из-за угла нам навстречу вырулил небольшой диск на колёсиках, мигая зелёным огоньком.

— Осторожно, — предупредил отец. — Это Роберт.

— Кто?

— Робот-пылесос. Работает по ночам. Его в прошлом году прислали, на испытания. Кошки поначалу пугались, но потом привыкли. Он, в сущности, безобиден. Просто очень настойчив.

Робот доехал до нас, упёрся носом в мою лапу, помигал, развернулся и вежливо отъехал в сторону. Я проводил его взглядом.

— Любопытно, — заметил я. — Он нас признаёт.

— Он признаёт препятствия, — поправил отец. — Это разные вещи.

По дороге нам попадались другие члены смены. Толстая трёхцветная Серафима дежурила у склада, вытянувшись на тёплой трубе, как на трибуне. Молодой рыжий Пушкин-младший нёс вахту во дворе и при виде меня выпрямился так, словно я был проверяющим из министерства. У дверей канцелярии, свернувшись клубком на стопке папок, спал седой кот без имени, которого все звали просто «Архив». Базилио с каждым обменивался коротким кивком, и по тому, как они отвечали, было видно: отца здесь не боятся и не любят. Его уважают, а это, по моему убеждению, самая редкая из трёх валют.

Мы свернули в боковой коридор, миновали ещё один пост, где дремал молодой охранник, укрывшийся пледом с тигровым рисунком (отец коротко кивнул ему: «практикант»), и вышли к высокой двустворчатой двери, приоткрытой на ширину ладони. За ней открывался зал, погружённый в полумрак. Дежурное освещение выхватывало из тьмы лишь золотой блик на раме и контур мраморной статуи.

Базилио остановился на пороге. Не переступил. Он сел, обернув лапы хвостом, и кивком пригласил меня сесть рядом.

— Здесь я обычно останавливаюсь, — тихо сказал он. — Каждую ночь. Смотрю и не вхожу. Положено.

Про лепнину

Мы сидели молча. Сквозь приоткрытую дверь был виден кусок зала: высокий, уходящий во мрак потолок с лепниной, тусклое золото багетов, паркет, блестящий, как вода. Это было красиво той особой ночной красотой, когда музей без людей становится честнее. Он перестаёт быть витриной и превращается в дом.

— Отец, — начал я. — Можно вопрос?

— Валяй.

— Вы всегда говорите: «В наше время лепнина была выше». Но я проверял. Измерения не подтверждают. Потолки те же.

Он усмехнулся в усы. Для Базилио это эквивалент хохота.

— Ты умный, Аристарх. Но иногда слишком. Это не про потолки.

Он замолчал надолго. Потом заговорил, не глядя на меня, глядя в зал:

— Я попал сюда котёнком. Мне было месяца три. Меня принесли в коробке и посадили в зал, который тогда как раз закрыли на реставрацию. Тишина, леса, запах извести. Я лёг на спину и посмотрел вверх. И там была лепнина. Огромные гирлянды, листья, фигуры, они уходили во тьму и казались бесконечными. Я смотрел на них и думал: это мир. Это настоящий мир, а то, что внизу, просто пол.

Он помолчал.

— С тех пор я вырос. Потолки не изменились. Но когда я смотрю на них теперь, они ниже. Не потому, что стали ниже, а потому что я больше не умею так смотреть. Вот и вся история. «Лепнина была выше» значит «я умел удивляться сильнее». Я просто не хотел объяснять этого сыну-философу.

Я долго не находил слов. Наконец сказал:

— Мне кажется, вы только что произнесли самый точный культурологический тезис, какой я слышал.

— Не льсти, — буркнул он. — Но запиши.

Что считать искусством

Мы двинулись дальше. Коридор вывел нас к проходной зоне, где днём шла подготовка очередной выставки. Посреди прохода стояло нечто. Я затрудняюсь описать его точнее. Это была груда проводов, светодиодных лент и металлических стоек, увенчанная старым кожаным креслом. Над всем этим висела табличка: «Не трогать. Инсталляция».

Отец осмотрел конструкцию без восторга.

— Современное, — сообщил он. — Из «Эрмитаж 20/21», кажется. Они тут иногда ставят такое.

— И как вы относитесь?

— Нейтрально. Но кресло удобное.

И прежде чем я успел его остановить, Базилио запрыгнул на кожаное сиденье, свернулся и закрыл глаза. С точки зрения кота это был жест высочайшего искусствоведческого одобрения. С точки зрения таблички «Не трогать» это был скандал.

— Отец! — зашипел я. — Там написано «не трогать».

— А я и не трогаю. Я сижу. Это разные вещи.

— Это формальность.

— Формальности придумали люди. А я кот. — Он приоткрыл один глаз. — Вот тебе вопрос на ночь, философ: что такое искусство?

Я сел напротив. Вопрос был не шуточный, и я решил ответить всерьёз.

— Мне кажется, искусство это то, что заставляет остановиться. На секунду, на минуту, на ночь. Сделать паузу в суете и посмотреть.

— Хорошо, — кивнул отец. — А это кресло?

— Я остановился. Вы тоже.

— Аргумент принят. — Он удовлетворённо потянулся. — Но у меня другое определение. Искусство это то, на что смотришь и забываешь о еде.

— Широкое определение.

— Узкое, — возразил Базилио. — Я о еде думаю почти всегда.

Мы засмеялись, то есть я посмотрел на него, он на меня, и этого оказалось достаточно.

Двое в штатском

Тут мы услышали шаги. Тяжёлые, размеренные, с лёгким присвистом. Из-за угла вышел Виктор Палыч с фонариком и термосом.

— Так, — сказал он, остановившись. — Датчик движения сработал на втором. Смотрю на камеру: двое в штатском сидят перед инсталляцией. Один на кресле. Это что ж, господа, нарушение?

Мы замерли. Отец не шелохнулся. Я попытался принять вид кота, который просто проходил мимо.

Палыч посмотрел на нас долго, потом на табличку, потом снова на нас. Затем вздохнул, снял с кармана рацию и сказал в неё усталым голосом:

— Второй пост, ложная тревога. Это коты. Отбой.

Он выключил фонарик и сел на край ящика.

— Вы, ребята, меня под монастырь подведёте. Начальство найдёт шерсть на экспонате, спросит: а где охрана? Я скажу: охрана сидела и смотрела. Как на зрителя. — Он хмыкнул. — Ладно. Сидите. Кресло всё равно жёсткое. А вы, Василий Васильевич, не хулиганьте больше.

Базилио на этот выговор ответил полным достоинства взглядом, после чего, не спеша, спустился с кресла и сел рядом. Палыч протянул ему печенье. Отец принял.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.